

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ
**ЛИЦО, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО**



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1884

Надежда Чародейская
Лицо, которого не было

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Лицо, которого не было / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Осень 1884 года. В антикварной лавке на Литейном появляется дагерротип 1842 года — первый русский, с семейством барона Таубе. Всё бы ничего, но в зеркале на стене отражается лишнее лицо, которого там быть не могло: человек в сюртуке, как нынче носят, с бородкой клинышком. Газеты кричат о призраке, коллекционеры — о раритете, а фотограф Вересов — о подделке. Ведь дагерротип — зеркало, которое помнит только тех, кто стоял перед ним. А если на нём тот, кто родился позже? Значит, кто-то очень хотел, чтобы старое стало дороже, а чужое — своим. Дело о лице, которого не было, — десятое дело сыщика с фонарём.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Лицо, которого не было	5
Глава вторая. Когда снимали дагерротип?	14
Глава третья. Дом на Английской	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Надежда Чародейская

Лицо, которого не было

Глава первая. Лицо, которого не было

Октябрь в Петербурге в том году выдался такой, что даже голуби летали извиняясь. Дождь шёл третий день без перерыва, Нева потемнела и шла рябью, а на Загородном проспекте извозчики брали двойную цену не за скорость, а за то, что вообще соглашались ехать.

В ателье «Светопись Вересова» было тихо, тепло и пахло тем, чем в приличном доме пахнуть не должно: коллодием, старой бумагой и чуть-чуть — сырой печкой. Макар с утра воевал с этой печкой и проиграл. Печка дымила, Макар ворчал, а Вересов сидел за столом и делал вид, что всё это его не касается.

Ему было двадцать семь, хотя в некоторые дни, особенно дождливые, ему давали тридцать два. Светлые волосы, зачёсанные назад, чисто выбрит, брови выразительные, как у человека, который постоянно чему-то удивляется, но вслух об этом не говорит. На левой скуле — тонкий бледный шрам, оставшийся с тех времён, когда он ещё учился в Медико-хирургической и нечаянно опрокинул на себя склянку. Жест у него был привычный — откинуть прядь назад, даже если она никуда не падала. Щёголь, как говорила Лиза, в духе тех молодых людей, что играют в оперетте франтов и сами верят, что они франты.

На столе перед ним лежали три вещи: коробка с пластинами, стакан с чаем, который давно остыл, и газета, которую Лиза принесла ещё утром и велела прочитать «непреренно и вслух».

— Вы читали? — спросила Лиза, входя без стука, как входят люди, у которых есть ключ и уверенность, что им всегда рады.

Лиза Каптелева была гимназистка шестнадцати лет, с косой, с характером и с твёрдым убеждением, что в Петербурге ничего не происходит без её ведома. Она служила при ателье кем-то вроде музы, секретаря и отдела новостей в одном лице.

— Читаю, — сказал Вересов, не поднимая головы. — «В архиве Академии художеств найден дагерротип сороковых годов. Первый русский. На нём семейство барона Таубе...»

— Дальше! — потребовала Лиза. — Самое главное дальше!

— «...а в зеркале на стене — лишнее лицо». Ну и что?

— Как «ну и что»? — Лиза всплеснула руками. — Человек в сороковых годах снят, а сюртук на нём — как нынче носят! Это же привидение! Или...

— Или кто-то очень хотел, чтобы его приняли за привидение, — закончил Вересов и наконец поднял глаза. — Лиза, душа моя, привидения в сюртуках Теодора не ходят. Привидения, если уж на то пошло, ходят в саванах. А в сюртуках ходят должники.

— Откуда вы знаете, что это Теодор?

— А кто ещё в Петербурге шьёт так узко, что в нём дышать нельзя? Только Теодор. У него и пуговицы блестят, как у городского. — Вересов откинул прядь назад. — Впрочем, это всё лирика. Где газета пишет, что дагерротип можно посмотреть?

— Нигде. Пишут, что его купил антиквар Давидсон с Литейного. И что барон Таубе хочет его продать за пять тысяч.

— Пять тысяч за чужое лицо в зеркале? Недорого. — Вересов встал, накинул сюртук, который сидел на нём так, будто его только что сняли с манекена. — Пойдём, Лиза. Посмотрим на лицо, которого не было. Пока его не продали кому-нибудь, у кого есть пять тысяч и нет воображения.

Лавка Давидсона на Литейном пахла именно тем, чем должна пахнуть лавка антиквара: пылью, старой медью и чужими историями. Сам Давидсон был человек лет пятидесяти пяти, лысый, с бородой, которую он, казалось, отращивал, чтобы было за что держаться, когда врёт.

— Господин Вересов! — обрадовался он, увидев Вересова. — Какая честь! Сам фотограф, который...

— Который любит смотреть чужие карточки, — перебил Вересов. — Покажите дагерротип Таубе. Тот, из газеты.

Давидсон вздохнул, как вздыхают люди, у которых просят показать самое дорогое, и полез под прилавок. Через минуту на бархатной подушечке лежал футляр. Синий, потёртый, с латунной застёжкой.

Внутри — пластина. Зеркальная, тяжёлая, в которой отражался весь мир наоборот. На пластине — гостиная. Большая, с высокими окнами, с зеркалом во всю стену. В гостиной — семейство: барон, баронесса, дети, гувернантка в чепце. Все сидят чинно, как и положено людям, которые знают, что их снимают пятнадцать минут и шевелиться нельзя.

А в зеркале, за их спинами, — ещё один человек.

Молодой, в сюртуке с узкой талией, с бородкой клинышком, улыбается. Стоит у книжного шкафа, будто его туда случайно забыли поставить.

— Видите? — шёпотом сказал Давидсон. — Лишнее лицо. Привидение. Барон говорит, это его дед. А внук барона говорит, что это не дед, а...

— А внук барона говорит, что ему нужны деньги, — закончил Вересов. Он взял пластину двумя пальцами, поднёс к свету. — Лиза, что вы видите?

Лиза, которая до этого молчала, вытянула шею.

— Человека. Лишнего. В углу.

— А ещё?

— Сюртук модный.

— Вот именно. — Вересов улыбнулся. — Модный. А гостиная — не модная. Сороковые годы. Тогда так не одевались. Тогда носили фалды до колен, а не вот это вот... — он кивнул на сюртук, — ...для верховой езды в гостиной.

Давидсон кашлянул.

— Вы хотите сказать, что это подделка?

— Я хочу сказать, что это очень хорошая подделка. — Вересов вернул пластину в футляр. — И что человек, который её делал, очень любит старые вещи. Настолько, что готов делать новые под старые.

— А зачем?

— Затем, что старые стоят пять тысяч, а новые — двадцать копеек. На Обводном, у старьевщиков. — Вересов посмотрел на Давидсона внимательно. — Скажите, Аполлон Иванович, а у вас в лавке много таких... раритетов?

— Я честный торговец! — возмутился Давидсон, и борода его дрогнула.

— Верю, — кивнул Вересов. — Честные торговцы всегда возмущаются первыми. Сколько вы хотите за то, чтобы я посмотрел на ваши честные раритеты повнимательнее?

Давидсон задумался. Пять тысяч — это пять тысяч. А Вересов — это Вересов. Про него в газетах писали, что он «воскрешает покойников на стекле». С таким лучше дружить.

— Смотрите, — сказал он наконец. — Только руками не трогайте.

— Руками не трогаю. Только глазами.

Задняя комната лавки была похожа на склад времени. На полках — коробки, футляры, банки, пластины. Всё покрыто пылью, как будто время здесь действительно остановилось и забыло вытереть ноги.

Вересов ходил между полками, заложив руки за спину, как ходят в музей. Лиза семенила следом, стараясь ничего не задеть.

— Вот, — Давидсон показал на стопку пластин. — Старые. Купил на рынке.

Вересов взял одну. На ней — пусто. Просто зеркальная пластина, без изображения.

— А это?

— Заготовки. Для реставрации.

— Для реставрации прошлого? — Вересов усмехнулся. — Удобно. Берёте старую пластину, снимаете на неё нового человека в старом костюме, кладёте в старый футляр — и вот вам раритет. Сороковые годы. С привидением.

— Я не...

— Вы не, — кивнул Вересов. — А кто?

Давидсон молчал. Борода его больше не дрожала. Он смотрел в пол.

— Эмиль, — сказал он тихо. — Внук барона. Приходил месяц назад. Сказал, нужен дагерротип без лишнего лица. Для семейного архива. Заплатил десять рублей.

— А вы сделали с лишним лицом?

— Я... я сделал два. Один без, один с. Он взял тот, что без. А этот оставил. Сказал, продам, как диковинку.

— И вы продали газете историю про привидение.

Давидсон кивнул.

Вересов вздохнул. История, как всегда, оказывалась проще привидения и скучнее газеты.

— Понятно, — сказал он. — Лицо, которого не было, оказалось лицом, которое очень хотело быть. Особенно в завещании.

— В каком завещании? — встрепелась Лиза.

— А вот это мы сейчас и узнаем. — Вересов повернулся к Давидсону. — Где живёт барон Таубе?

— На Английской. Дом с колоннами.

— Знаю. — Вересов накинул сюртук. — Пойдёмте, Лиза. У нас с вами теперь два лишних лица: одно на пластине, другое в лавке. И оба, чувствую, хотят стать наследниками.

На улице снова моросил дождь. Извозчики всё так же брали двойную цену. А на Литейном, в лавке антиквара, на бархатной подушечке лежал дагерротип, на котором человек в модном сюртуке улыбался из сороковых годов так уверенно, будто и вправду имел право там быть.

Вересов откинул прядь назад, поправил воротник и шагнул под дождь. Дело только началось, а уже пахло не коллодием, а чем-то другим — старыми бумагами, чужими завещаниями и тем особенным азартом, какой бывает, когда понимаешь, что тебя пытаются обмануть, а ты уже почти понял — как.

— Светопись, Лиза, — сказал он, поднимая воротник, — она ведь не только старит и двоит. Она ещё и обманывает. Но обманывает, как правило, тех, кто сам хочет обмануться.

— А мы? — спросила Лиза, прячась под его зонт.

— А мы, — Вересов улыбнулся той самой ироничной улыбкой, за которую его любили заказчицы и недолюбливали приставы, — а мы её сейчас проявим. Как всегда.

На Загородном их ждал Макар. Он стоял на крыльце ателье под дырявым зонтом, который держал над собой так, будто зонт был виноват в дожде, и смотрел на улицу с выражением человека, которого оставили сторожить вечность и забыли сменить.

— Ну что, барин? — крикнул он, увидев их. — Нашли привидение?

— Нашли, — сказал Вересов, складывая свой зонт. — Только оно оказалось не привидением, а должником. А должники, Макар, как известно, страшнее привидений. Привидение хоть в долг не просит.

— А кто должен? — Макар посторонился, пропуская их в дом.

— Внук барона, — сказала Лиза, входя первой и стряхивая воду с косы. — Двадцать тысяч. И дом заложен. И завещание мешает.

— Двадцать тысяч! — Макар присвистнул. — За двадцать тысяч я бы и сам в зеркале отразился. И в двух зеркалах. И в самоваре, если надо.

В ателье было всё так же тепло, только печка теперь не дымила, а гудела, будто извинялась за утреннее поведение. На столе — тот же остывший чай, та же коробка с пластинами, только газеты уже не было — её унесла Лиза, чтобы показать гимназическим подругам.

Вересов снял сюртук, повесил его на вешалку, где он сразу принял вид человека, который только что вернулся из приличного общества и теперь отдыхает.

— Значит, так, — сказал он, садясь за стол и придвигая к себе коробку. — У нас есть дагерротип сороковых годов. На нём — семейство Таубе и лишнее лицо в зеркале. Лицо — в модном сюртуке. Сюртук — Теодора. Теодор шьёт так второй год. Значит, лицо — новое. А пластина — старая. Кто-то взял старую пластину и снял на неё нового человека.

— Эмиль? — спросил Макар.

— Эмиль заказал, Давидсон сделал, — кивнул Вересов. — Один хотел, чтобы завещания не было, другой — чтобы было привидение. А получилось — два дагерротипа. Один без лица, другой с лицом. И оба — враньё.

— А зачем два? — не понял Макар.

— А затем, что когда врёшь, всегда нужно два вранья, — сказал Вересов. — Одно — для тех, кто хочет, чтобы было так, другое — для тех, кто хочет, чтобы было этак. А правда, Макар, она одна. И она, как правило, в комодке у экономки.

— У какой экономки?

— У Глафиры Петровны, — сказала Лиза, которая уже успела снять пальто и теперь сидела на подоконнике, болтая ногами. — Она на Английской живёт. Я её знаю. Строгая. Пироги с капустой печёт.

— Пироги с капустой — это серьёзно, — сказал Макар уважительно. — За пироги с капустой я бы тоже завещание написал.

Вересов посмотрел на них обоих — на гимназистку на подоконнике и на мальчишку у печки — и вдруг почувствовал то, что чувствует человек, когда дело, которое казалось простым, начинает обрастать людьми.

— Вот что, — сказал он. — Завтра с утра пойдём на Английскую. К барону. Посмотрим на дом, на зеркало, на экономку. И на завещание, если оно есть.

— А если его нет? — спросила Лиза.

— А если его нет, — Вересов откинул прядь назад, — то его кто-то очень хорошо спрятал. А то, что хорошо спрятано, Лиза, всегда хочет, чтобы его нашли. Особенно если это завещание. Макар подошёл к столу, посмотрел на коробку с пластинами.

— Барин, а можно я тоже посмотрю на дагерротип? Ну, тот, с привидением?

— Нельзя, — сказал Вересов. — Он у Давидсона остался. А у Давидсона теперь — Пузырёв. А у Пузырёва — протокол. А протокол, Макар, это такая вещь, что лучше его не трогать, пока он сам тебя не тронет.

— А когда тронет?

— А когда ты начнёшь делать фальшивые дагерротипы, — Вересов улыбнулся. — А ты ведь не начнёшь?

— Я? — Макар испугался. — Я только честные делаю! Которые не стыдно показать!

— Вот и хорошо, — Вересов встал. — А теперь — чай. С лимоном. И без привидений. Привидения, они, знаешь ли, чай не пьют. Они только в зеркалах отражаются. И то — если их туда поставить.

Лиза прыгнула с подоконника.

— А я пойду домой, — сказала она. — А то папенька скажет, что я опять у фотографа пропадала.

— А ты где пропадала? — спросил Вересов.

— У фотографа, — честно сказала Лиза. — Где же ещё?

— Логично, — кивнул Вересов. — Иди. И завтра с утра — на Английскую. Без опозданий. И без газеты. Газету мы уже читали.

— А с чем? — спросила Лиза.

— А с зонтом, — сказал Макар. — Дождь же.

— С зонтом и с пирогами, — добавил Вересов. — Если Глафира Петровна даст. А она, я думаю, даст. Экономки, они всегда дают пироги тем, кто приходит с хорошими новостями. А у нас новость хорошая: дом — её.

Лиза ушла, оставив после себя запах мокрой шерсти и гимназических чернил. Макар пошёл подбрасывать дрова в печку, которая теперь гудела довольно, как кот.

Вересов остался один. Он сидел за столом, смотрел на коробку с пластинами, на стакан с чаем, который так и не выпил, и думал о том, как странно устроено прошлое.

Вот лежит дагерротип. Сороковые годы. Семейство. Зеркало. И в зеркале — человек, которого там быть не должно. Человек в модном сюртуке. Человек, который хочет, чтобы его приняли за привидение, а на самом деле хочет, чтобы его приняли за наследника.

И ведь почти получилось. Если бы не газета, если бы не Лиза, если бы не Давидсон с его бородой, за которую удобно держаться, когда врёшь, — никто бы и не заметил. Продали бы дагерротип за пять тысяч как диковинку, а завещание — как будто его и не было. И дом — внуку. А экономка — так и осталась бы экономкой.

Но не получилось. Потому что в Петербурге, даже в дождь, даже в октябре, даже когда голуби летают извиняясь, — всегда найдётся гимназистка, которая принесёт газету, и фотограф, который посмотрит на сюртук и скажет: «Так теперь не шьют».

Вересов встал, подошёл к окну. За окном — Загородный, мокрый, блестящий, с фонарями, которые уже зажигали, хотя было ещё не темно.

— Лицо, которого не было, — пробормотал он. — А ведь какое точное название. Лица, которого не было, всегда больше всего хотят, чтобы оно было. И иногда им это почти удаётся.

Он откинул прядь назад, поправил воротник, хотя воротник и так был в порядке, и пошёл в тёмную комнату — проверять, высохли ли отпечатки, которые он утром повесил сушиться.

Отпечатки высохли. На них был Петербург. Мокрый, серый, с извозчиками, которые брали двойную цену. И ни одного лишнего лица. Пока.

Вечером дождь наконец перестал, и город вздохнул. Вересов вышел на Загородный без зонта — назло погоде, которая всё равно уже всё испортила.

Петербург после дождя всегда выглядит так, будто его только что вымыли и забыли вытереть. Тротуары блестят, в лужах отражаются фонари, а в воздухе пахнет мокрым камнем и чем-то ещё, что в Петербурге называют «свежестью», хотя на самом деле это просто вода, которая на три часа стала чище Невы.

Макар догнал его у булочной.

— Барин, а барин! — он запыхался. — А я вот что подумал. А если завещание — настоящее, а дагерротип — поддельный, то что тогда настоящее? Завещание или дагерротип?

— Хороший вопрос, Макар, — сказал Вересов, не останавливаясь. — Философский. На него даже судья на Моховой не сразу ответит.

— А вы ответите?

— А я отвечу, — Вересов остановился у витрины, где за стеклом лежали булки, похожие на маленькие солнца. — Настоящее — то, что в комод у экономки. А всё остальное — попытка это настоящее спрятать. Или продать. За пять тысяч.

— А экономка — она какая?

— А экономка, — Вересов посмотрел на отражение Макара в витрине, — а экономка — она как дагерротип. Снаружи — просто доска, а внутри — вся история. Надо только правильно проявить.

Макар задумался. Думал он всегда громко, с сопением.

— А я вот что ещё подумал, барин. А если бы я был бароном, я бы тоже завещание написал. Только я бы написал так: «Всё — Макару. За то, что он печку топит».

— За печку — это мало, — сказал Вересов. — За печку дают только чай. А за дом — надо что-нибудь посерьёзнее. Например, родиться от гувернантки-француженки. Это, Макар, уже повод для завещания.

— А у меня матушка — не француженка, — вздохнул Макар.

— Зато у тебя печка, — утешил его Вересов. — А печка в Петербурге — дороже француженки. Особенно в октябре.

Они дошли до угла Загородного и Гороховой, где обычно стоял городской. Городового не было — видимо, ушёл сушиться.

— Барин, а можно я завтра с вами на Английскую пойду? — спросил Макар.

— А ты зачем?

— А я посмотрю на зеркало. С ангелами. Я ангелов люблю. Они, говорят, всё видят, а ничего не рассказывают. Как фотографии.

— Как фотографии, — кивнул Вересов. — Только фотографии потом ещё и проявляют. А ангелы — нет. Ангелы только держат раму. Что, впрочем, тоже работа.

— А тяжёлая?

— Сто килограммов, — сказал Вересов. — Рама. А ангелы — ещё тяжелее. Потому что им надо держать не только раму, но и всё, что в зеркале отражается. А в зеркале, Макар, отражается много лишнего. Особенно когда в доме — долги.

Макар посмотрел на него с уважением.

— Вы, барин, как скажете — так и в газете можно печатать.

— В газете уже напечатали, — Вересов кивнул в сторону, где на тумбе висел мокрый лист газеты с заголовком про дагерротип. — И видишь, что получилось? Привидение. А на самом деле — внук в долгах. Вот тебе и газета.

— А вы в газеты не верите?

— А я верю только в то, что сам проявил, — сказал Вересов. — А проявил я пока только одно: что лицо, которого не было, очень хочет, чтобы оно было. И что для этого оно готово на всё. Даже на то, чтобы стать привидением. За пять тысяч.

Они повернули обратно к ателье. Фонари уже горели вовсю, и в их свете Загородный выглядел почти прилично — как человек, который надел чистую рубашку, но забыл побриться.

— Барин, а как вы думаете, — спросил вдруг Макар, — а Глафира Петровна — она красивая?

— А ты зачем спрашиваешь?

— А я просто. Если она хозяйка дома, то, может, она и замуж выйдет. А я бы за неё замуж не пошёл. Она строгая.

— А ты бы за кого пошёл?

— А я бы за Лизу, — честно сказал Макар. — Она хоть и гимназистка, а пироги не печёт, зато газеты приносит. А с газетами веселее, чем с пирогами.

— С газетами — веселее, — согласился Вересов. — Только от газет — долги. А от пирогов — сытость. Выбирай, Макар.

— А я и то и другое выберу, — сказал Макар. — И газету, и пироги. И чтобы дом — мой. Как у Глафиры Петровны.

— А вот это, — Вересов откинул прядь назад и улыбнулся, — а вот это уже похоже на завещание. Только его надо написать. И чтобы никто не подделал. А то опять получится лицо, которого не было.

Они подошли к ателье. На крыльце уже стояла Лиза — опять без стука, опять с газетой, только теперь газета была другая, вечерняя.

— Вы где ходите? — крикнула она. — Я вас уже час жду! Тут такое пишут!

— Что пишут? — спросил Вересов.

— Пишут, что барон Таубе умер! — Лиза замахала газетой.

— Как умер? — Вересов остановился. — Когда?

— Да не умер! — Лиза засмеялась. — Это я вас пугаю! Пишут, что он продаёт дом! За десять тысяч!

— Десять тысяч? — переспросил Макар. — А дагерротип — пять. Значит, дом — это два дагерротипа. Недорого.

— А завешание? — спросил Вересов.

— А про завешание — ничего не пишут, — Лиза сложила газету. — Пишут только про привидение. Что оно в зеркале. И что его можно посмотреть в лавке Давидсона за двугривенный.

— За двугривенный — это уже не привидение, а аттракцион, — сказал Вересов. — Пойдёмте домой. Завтра с утра — на Английскую. Пока дом ещё не продали. И пока привидение ещё за двугривенный, а не за пять тысяч.

И они вошли в ателье, где пахло коллодием, старой бумагой и пирогами, которых ещё не было, но которые, как чувствовал Вересов, уже где-то пеклись — в маленькой комнате на втором этаже дома на Английской, где жила экономка, которая тридцать лет ждала, когда её назовут хозяйкой.

А на столе, где утром лежали три вещи, теперь лежали четыре: коробка с пластинами, стакан с чаем, который опять остыл, и два билета. Один — в театр, другой — на выставку дагерротипов в Академии. Оба принесла Лиза, оба — «непременно и вслух», оба — на завтра.

— В театр я не пойду, — сказал Вересов, глядя на билеты. — В театре и так каждый день лица, которых не было. А вот на выставку — пойдём. Посмотрим, сколько ещё привидений продаётся за двугривенный.

— А если там тоже внуки в долгах? — спросила Лиза.

— Тогда, — Вересов откинул прядь назад и посмотрел на неё тем самым взглядом, за который его прощали даже те, кого он снимал неудачно, — тогда мы их тоже проявим. Как всегда. До конца. Пока не станет ясно, где лицо, а где — только его тень в зеркале.

За окном снова начинал моросить дождь, но теперь он казался не нудным, а почти уютным — как будто город решил, что если уж ему суждено быть мокрым, то пусть будет мокрым красиво, с фонарями, с отражениями, с лишними лицами, которые, если присмотреться, оказываются совсем не лишними, а просто забытыми.

И Вересов подумал, что в этом, собственно, и состоит его работа: находить забытые лица и возвращать их туда, где им положено быть. Даже если для этого надо пройти через лавку антиквара, дом с колоннами и контору нотариуса с сейфом в пятьсот килограммов чужих тайн.

— Макар, — сказал он, не оборачиваясь, — ставь самовар. И достань ту коробку, где у нас старые дагерротипы лежат. Посмотрим, нет ли там ещё каких-нибудь внуков в модных сюртуках. А то вдруг мы что-то пропустили.

— А если пропустили? — спросил Макар, уже ставя самовар.

— А если пропустили, — Вересов улыбнулся, — то они сами придут. Лица, которых не было, они всегда приходят. Особенно когда их ждут. И особенно — когда в доме пахнет пирогами с капустой.

— А вы, барин, — Макар вдруг вспомнил, — а вы завтра на выставку пойдёте? Там дагерротипы будут. Настоящие. Сороковых годов.

— Пойду, — кивнул Вересов. — Посмотрю, сколько там лишних лиц. И сколько — настоящих. И сколько — с бородами, за которые удобно держаться, когда врёшь.

— А бороды — там будут? — спросил Макар.

— А бороды — там будут, — кивнул Вересов. — В сороковых бороды носили все. И бароны, и гувернёры, и даже экономки. Только экономки — не носили. У них — пироги. С капустой.

— А пироги — там будут? — спросил Макар.

— А пироги — там не будут, — сказал Вересов. — На выставке — только дагерротипы. А пироги — у Глафиры Петровны. На Английской. Пойдёмте туда. Пока выставка не закрылась. И пока пироги не остыли.

И они пошли на Английскую, трое, под зонтом, который опять был нужен, потому что дождь опять начинал моросить, как будто тоже хотел на выставку. Выставку дагерротипов, где лица, которых не было, и лица, которые были, но о которых все забыли, смотрели из рамок и молчали. Тридцать лет молчали. А теперь — говорили. За пять тысяч. Или за двугривенный. Как повезёт.

— А вы, барин, — Лиза вдруг спросила, когда они уже допили чай, — а вы думаете, через сто лет тоже будут экономки, которые оказываются хозяйками?

— А через сто лет, — Вересов посмотрел на окно, где за окном — Загородный, мокрый, с фонарями, — а через сто лет тоже будут экономки, которые оказываются хозяйками. И внуки в долгах — тоже будут. И дома с колоннами — тоже будут. И зеркала с ангелами — тоже будут. Сто килограммов. И дагерротипы — тоже будут. Без лиц, с лицами, с французами, с внуками в модных сюртуках. Много. И все — про прошлое. Которое кто-то очень хотел переделать.

— А фотографии? — спросил Макар.

— А фотографии, — Вересов откинул прядь назад, — а фотографии тоже будут. Только уже не с аппаратами Дагерра, а с другими. Лёгкими, быстрыми. Которые снимают за секунду. И которые тоже будут проявлять. До конца. Даже если для этого надо тридцать лет и два дагерротипа.

— А пироги с капустой? — спросил Макар.

— А пироги с капустой, — Вересов улыбнулся, — а пироги с капустой — тоже будут. Потому что пироги — они всегда будут. Особенно когда их печёт хозяйка, которая тридцать лет была экономкой и вдруг оказалась хозяйкой.

— А вы будете? — спросил Макар.

— А я, — Вересов посмотрел на него, — а я буду. Через сто лет — тоже буду. Только уже не фотографом, а дагерротипом. В рамке. С зеркалом. И с лицом, которого не было, но которое теперь есть. И с пирогами с капустой.

И они сидели в ателье, пили чай, смотрели на Петербург за окном, мокрый, серый, с извозчиками, которые брали двойную цену, и с домами с колоннами, в которых жили экономки, которые оказывались хозяйками, и внуки, которые оказывались должниками, и фотографии, которые всё это проявляли. До конца. И которые были счастливы, когда проявляли. Потому что проявлять — это и есть счастье. Особенно когда проявляешь то, что тридцать лет лежало в комодке и ждало, когда его найдут. И когда его находят — дом становится тем, кому он положен по завещанию, а не тем, кто в модном сюртуке. И это — справедливо. Хотя и неожиданно. Как и всё в Петербурге.

И ещё — про барона. Барон, он, конечно, знал. Не мог не знать. Про француженку Дюпон знал, про дочь знал, про завещание — может, и не знал, а может, и знал, да забыл. Бароны, они забывчивые. Особенно когда им удобно забыть. И когда в деревне — скучно, а в городе — дом с колоннами и зеркало с ангелами. И экономка, которая пироги печёт.

— А вы барона видели? — спросила Лиза.

— А барона, — Вересов посмотрел на часы, которые показывали уже десять, — а барона я видел. Раз. На Невском. В карете. С тростью. И с собакой. Собака — маленькая, злая, как антиквар без бороды. А барон — большой, добрый, как экономка с пирогами. Только в деревне.

И с тех пор — в деревне. Потому что ему там — спокойнее. Нет зеркал с ангелами. И нет завещаний номер сто сорок два.

— А зеркала — в деревне есть? — спросил Макар.

— А зеркала, — Вересов откинул прядь назад, — а зеркала в деревне тоже есть. Только в них — не французы отражаются, а коровы. И это, как ни странно, честнее. Потому что корова — она настоящая, а француз в зеркале — он как лицо, которого не было. Его ищешь, а его нет. А корова — есть. Всегда есть. И молоко даёт. И пироги с капустой — тоже с молоком. А с молоком — вкуснее.

И они сидели, пили чай, ели пироги, смотрели на Загородный, где уже зажигали фонари, и думали о том, как странно устроена жизнь: вот живёт экономка тридцать лет, вытирает пыль, печёт пироги, когда нервничает, а потом оказывается — хозяйка дома с колоннами. И всё — по завещанию. Номер сто сорок два. Двенадцатое марта сорок второго. Бумага фабрики Гончарова, сургуч, печать орёл. Всё подлинное. И пироги с капустой — тоже подлинны. И даже француза в зеркале — тоже подлинный. Хотя его и нет. Точнее, он есть, но его нет. Как лицо, которого не было.

Глава вторая. Когда снимали дагерротип?

Дом на Английской набережной выглядел так, как выглядят дома, которые слишком долго стояли на одном месте и теперь считают, что набережная названа в их честь. Четыре колонны, двадцать окон, швейцар в ливрее, который смотрел на Вересова так, будто тот пришёл продавать ваксу.

— Барон принимает? — спросил Вересов, снимая шляпу и стряхивая с неё дождь, которого на шляпе уже не было, а привычка осталась.

— Барон не принимает, — сказал швейцар. — Барон почивает.

— А внук барона?

— Внук барона играет.

— Во что?

— В долги, — швейцар позволил себе улыбку. — Второй этаж, налево. Только калоши снимите. Барон не любит, когда скрипит.

Лиза, которая всё это время пряталась за спиной Вересова, прошептала:

— Какой строгий дом. У нас на Загородном попроще.

— У вас на Загородном грифон, — шепнул в ответ Вересов. — А тут колонны. Разница в том, что грифон смотрит, а колонны — подпирают. Пойдём.

Второй этаж встретил их запахом воска, старого дерева и моря. Море пахло даже здесь, хотя до него было сто шагов и закрытая дверь. На стене, в тяжёлой раме, висело зеркало. Большое, в рост человека, с ангелами по углам. Ангелы за сто сорок лет успели запылиться, но всё ещё держали раму.

Под зеркалом, в кресле, сидел барон Карл Фёдорович Таубе. Ему было шестьдесят восемь, и он выглядел на все восемьдесят, потому что всю жизнь старался выглядеть на шестьдесят. Седой, прямой, в халате с кистями, с газетой, которую он не читал.

— Господин Вересов? — барон поднял глаза. — Тот самый, что проявляет покойников?

— Тот самый, что проявляет то, что другие прячут, — поправил Вересов и поклонился. — Вы позволите?

— Садитесь. Вы по поводу дагерротипа?

— По поводу лица, которое в нём лишнее.

Барон кивнул, будто ждал именно этих слов.

— Я так и знал, что кто-нибудь придёт. Сначала газета, потом вы. Все хотят посмотреть на привидение. А привидения, молодой человек, — это как долги: их все обсуждают, но никто не видел.

— Я видел, — сказал Вересов. — В лавке Давидсона. Человек в модном сюртуке стоит в гостиной сороковых годов и улыбается. Улыбка, кстати, очень современная. Так в сороковых не улыбались. В сороковых улыбались в бороду.

— Вы думаете, это подделка?

— Я думаю, что это очень старая пластина и очень новый человек. Как ваш внук, например.

В этот момент дверь распахнулась, и внук вошёл сам. Эмиль Карлович Таубе был из тех молодых людей, которые с утра выглядят так, будто уже проигрались. Сюртук узкий, блестящий, борода клинышком, глаза бегают.

— Дедушка, я... — он осёкся, увидев Вересова. — А вы кто?

— Фотограф, — сказал Вересов. — Пришёл посмотреть на ваше семейное привидение. Вы, я вижу, тоже любите модные сюртуки.

Эмиль побледнел.

— При чём тут мой сюртук?

— При том, что на дагерротипе — точно такой же. — Вересов откинул прядь назад. — Странное совпадение, не правда ли? В сорок втором году, когда снимали вашу семью, ваш сюртук ещё не родился. А на снимке — уже есть.

Барон хмыкнул. Ему нравилось, когда внука ставят в неловкое положение.

— Эмиль, — сказал он, — господин Вересов думает, что ты подделал дагерротип.

— Я? — Эмиль всплеснул руками. — Зачем мне?

— Затем, что дом заложен, а завещание 1842 года мешает его продать, — спокойно сказал Вересов. — Я угадал?

В комнате стало тихо. За окном шумел дождь, в камине трещало полено, а зеркало отражало всех четверых — барона, внука, Вересова и Лизу, которая старалась стать невидимой и от этого становилась ещё заметнее.

— Откуда вы знаете про завещание? — тихо спросил барон.

— Оттуда, что лишнее лицо в зеркале — это всегда про наследство. Привидения не приходят просто так. Они приходят, когда надо что-то делить. — Вересов встал. — Покажите мне завещание, Карл Фёдорович. И я скажу вам, чьё лицо в зеркале лишнее — того, кто на пластине, или того, кто в этой комнате.

Барон долго молчал, потом кивнул на стол, где лежала папка.

— Там. Нотариус Ключев хранит оригинал, а это копия. Двенадцатое марта сорок второго года.

Вересов открыл папку. Бумага пожелтела, чернила выцвели, но текст читался. Барон Таубе-старший отписывал дом не сыну, а дочери. Дочери, рождённой от гувернантки.

— Французенка Дюпон, — пробормотал Вересов. — Гувернантка.

— Она служила у нас с тридцать восьмого, — сказал барон. — Отец её... любил. А потом она исчезла. Вместе с дочерью.

— А дочь — это Глафира Петровна? — спросила вдруг Лиза, которая до этого молчала, как мышка.

Барон посмотрел на неё с удивлением.

— Откуда вы знаете?

— Я всё знаю, — сказала Лиза гордо. — Я гимназистка.

— Глафира Петровна — экономка, — сказал барон. — Живёт у нас тридцать лет. Я думал, она просто... экономка.

— А она — хозяйка, — закончил Вересов. — По завещанию. И если дагерротип без лишнего лица, то завещания как бы не было. А если с лишним лицом — то был гувернёр-француз, отец Глафиры, и завещание настоящее. Так?

Эмиль молчал. Он смотрел в зеркало, где отражался его собственный сюртук, очень похожий на тот, что был на дагерротипе.

— Я не хотел никого обманывать, — сказал он наконец. — Мне нужны были деньги. Давидсон сказал, что сделает два дагерротипа. Один — как было, с французом. Другой — без. Я хотел показать тот, что без, и сказать, что завещание — выдумка.

— А Давидсон сделал наоборот, — кивнул Вересов. — Оставил тот, что с лицом, и продал его как привидение. За пять тысяч. Бизнес.

— Что теперь будет? — спросил барон.

— Теперь, — Вересов закрыл папку, — теперь мы пойдём к нотариусу Ключеву и посмотрим на оригинал завещания. А потом — к старому дагерротиписту Левицкому, который помнит, как снимали в сороковых. Он скажет, кто в зеркале — француз или внук в модном сюртуке.

— А если это внук? — спросила Лиза.

— Тогда, — Вересов улыбнулся, — тогда у нас будет не привидение, а мошенник. А мошенники, Лиза, в отличие от привидений, очень боятся суда. Особенно на Моховой.

Он поклонился барону, кивнул Эмилю, который всё ещё смотрел в зеркало, и вышел, увлекая за собой Лизу.

На лестнице Лиза спросила шёпотом:

— А вы правда думаете, что это Эмиль заказал подделку?

— Я думаю, — сказал Вересов, надевая шляпу, — что в этом доме слишком много зеркал и слишком мало денег. А когда мало денег, в зеркалах всегда появляется лишнее лицо. Закон оптики.

— А какой закон?

— Закон наследства, — сказал Вересов. — Он, Лиза, посильнее закона оптики. Оптика показывает, что есть, а наследство — что кому достанется. И иногда это совсем разные вещи.

Швейцар внизу уже не смотрел на них как на продавцов ваксы. Он смотрел как на людей, которые только что были у барона и вышли живыми, что в этом доме считалось достижением.

— Ну как? — спросил он тихо. — Барон кричал?

— Барон молчал, — сказал Вересов. — А это, знаете ли, страшнее, чем когда кричит. Когда барон молчит, он думает. А когда барон думает, он вспоминает, что у него есть экономка, которая тридцать лет вытирала пыль в его доме, а теперь оказалась его сестрой.

— Сестрой? — швейцар округлил глаза.

— Сводной, — уточнила Лиза. — По отцу. От гувернантки-француженки.

— А, француженка, — швейцар кивнул, будто это всё объясняло. — У нас тут много француженок было. Все гувернантки. Все с характером.

— А эта была с дочерью, — сказал Вересов. — И с завещанием. Двенадцатое марта сорок второго. Номер сто сорок два.

— Номер сто сорок два я помню, — сказал вдруг швейцар. — Я тут с сорокового служу. При мне ещё старый барон завещание писал. Приходил нотариус Ключев, только молодой ещё, без лысины. И гувернантка плакала. Француженка. Дюпон.

— Вы её помните? — встрепенулась Лиза.

— А как не помнить? — швейцар вздохнул. — Красивая была. В чепце. И по-русски говорила с акцентом. «Бонжур, — говорила, — мосье швейцар». А я ей: «Бонжур, мадемуазель». А она смеялась. А потом исчезла. Вместе с девочкой.

— А девочка — это Глафира Петровна, — сказал Вересов.

— Глафира Петровна? — швейцар посмотрел на него. — Экономка? Да ну?

— Да, — кивнул Вересов. — Экономка, которая оказалась хозяйкой. Бывает.

Швейцар покачал головой.

— Вот оно как. Тридцать лет пыль вытирала, а дом — её. А я тут калоши сторожу. А мог бы тоже завещание написать.

— А вы напишите, — сказал Вересов. — Только чтобы никто не подделал. А то опять получится лицо, которого не было.

Они вышли на Английскую. Дождь кончился, но ветер с Невы всё ещё нёс запах моря, мокрых досок и далёких пароходов.

— Барин, — сказала Лиза, когда они отошли от дома, — а вы заметили, как Эмиль смотрел в зеркало?

— Заметил, — кивнул Вересов. — Как будто хотел убедиться, что он там есть. А не в сороковых годах.

— А он есть?

— А он есть, — сказал Вересов. — Только не там, где хочет. Он хочет быть в завещании, а он — в долгах. А долги, Лиза, они как зеркало: в них тоже отражается лишнее лицо. Только это лицо — твоё собственное, когда ты считаешь, сколько должен.

Лиза засмеялась.

— А вы всегда так говорите? Загадками?

— А я фотограф, — сказал Вересов. — Я всегда говорю загадками. Потому что фотография — это тоже загадка. Вот смотришь на пластину — а там то, чего не было. А потом проявляешь — а там то, что было, но о чём все забыли.

— А что было?

— А было вот что, — Вересов остановился у фонаря, который уже зажигали, хотя было ещё светло. — В сорок втором году барон Таубе-старший любил гувернантку-француженку. И отписал дом её дочери. А сын — ничего не получил. А внук — тем более. А внук хочет продать дом, а не может. И заказывает поддельный дагерротип без француза. Чтобы доказать, что француза не было, и завещания не было.

— А француз был?

— А француз был, — кивнул Вересов. — Левицкий его помнит. Гувернёр Дюпон. Молодой, красивый, влюблённый в баронессу. А баронесса — в него. А барон — в зеркало. Классическая история.

— А Глафира Петровна?

— А Глафира Петровна, — Вересов откинул прядь назад, — а Глафира Петровна тридцать лет жила в доме, который ей принадлежит, и вытирала в нём пыль. И пекла пироги с капустой. И молчала. А теперь оказалось, что она — хозяйка. И что ей принадлежит не только пыль, но и колонны.

— А колонны — это много?

— А колонны, — Вересов посмотрел на дом с колоннами, который остался позади, — а колонны — это четыре штуки. И двадцать окон. И зеркало с ангелами. И всё это — за то, что твоя матушка была француженкой с акцентом. Неплохо, да?

— Неплохо, — согласилась Лиза. — Я бы тоже хотела, чтобы моя матушка была француженкой.

— А твоя матушка кто?

— А моя матушка — русская, — вздохнула Лиза. — И пироги с капустой не печёт. Печёт с яблоками.

— С яблоками — тоже хорошо, — сказал Вересов. — С яблоками — это почти по-французски. Шарлотка.

Они дошли до угла, где стоял извозчик. Извозчик дремал, лошадь тоже дремала, и только дождь, который опять начинал моросить, не дремал.

— На Невский, — сказал Вересов. — К нотариусу Ключеву. У него сейф пятьсот килограммов. Интересно, сколько в нём чужих завещаний помещается.

— А сколько? — спросила Лиза, садясь в пролётку.

— А столько, сколько в Петербурге домов с колоннами, — сказал Вересов, садясь рядом. — Много. Очень много. И в каждом — своя Глафира Петровна, которая вытирает пыль в доме, который ей принадлежит, но она об этом не знает.

Пролётка тронулась, и дом на Английской с колоннами остался позади, вместе с зеркалом, в котором отражалось лишнее лицо, и с экономкой, которая оказалась хозяйкой, и с внуком, который оказался должником.

— А вы думаете, барон отдаст дом? — спросила Лиза, когда они уже ехали по набережной.

— А барон, — Вересов посмотрел на Неву, которая шла рябью, — а барон, я думаю, уже отдал. Тридцать лет назад. Только забыл об этом. А теперь вспомнил. Потому что в зеркале появилось лицо, которого не было. И это лицо напомнило ему о лице, которое было, но о котором он забыл.

— А какое лицо?

— А лицо француженки Дюпон, — сказал Вересов. — Которая говорила «бонжур, мосье швейцар» и смеялась. И которая родила дочь, которая теперь печёт пироги с капустой и молчит тридцать лет.

— А вы бы молчали тридцать лет?

— А я, — Вересов улыбнулся, — а я бы не молчал. Я бы сразу пошёл к нотариусу и сказал: «Где моё завещание? Номер сто сорок два». А то потом придут внуки в модных сюртуках и начнут подделывать дагерротипы.

Лиза засмеялась, и пролётка, подпрыгивая на булыжниках, повезла их на Невский, где их ждал нотариус с сейфом в пятьсот килограммов и с завещанием, которое тридцать лет ждало, когда его найдут.

А за ними, в доме на Английской, в маленькой комнате на втором этаже, Глафира Петровна доставала из комода коробку с письмом от матушки-француженки и смотрела на него так, как смотрят на вещь, которую тридцать лет прятали, а теперь можно показать. И в её глазах, которые тридцать лет были строгими, впервые появилось что-то похожее на улыбку.

Потому что дом, который она тридцать лет вытирала от пыли, вдруг оказался её собственным. И это, как ни странно, было приятнее, чем пироги с капустой. Хотя пироги с капустой — тоже неплохо.

Контора Ключева встретила их тем же запахом сургуча и важности, только теперь в ней был ещё один человек — Пузырёв. Пристав сидел на стуле, который был ему мал, и пил чай, который был ему велик.

— Вересов! — сказал он, увидев Вересова. — Я так и знал, что вы тут. Мне Давидсон всё рассказал. Про дагерротип, про пять тысяч, про привидение. Я ему сказал: «Давидсон, ты у меня доиграешься». А он мне: «Я честный торговец». Честный торговец, как же.

— Аркадий Дормидонтович, — Вересов поклонился, — вы как всегда вовремя. У нас тут завещание 1842 года, номер сто сорок два.

— Номер сто сорок два я помню, — сказал Пузырёв. — У меня в участке тоже есть дело номер сто сорок два. Про кражу самовара. Тоже в сорок втором году. Совпадение?

— Совпадение, — кивнул Вересов. — Только там самовар украли, а тут дом отписали. Разница в том, что самовар можно вернуть, а дом — только отсудить.

Ключев, который не любил, когда в его конторе говорят о самоварах, кашлянул.

— Господа, — сказал он, — завещание у меня. В сейфе. Пятьсот килограммов. Хотите посмотреть?

— Хотим, — сказал Вересов.

Ключев подошёл к сейфу, повозился с ключами, открыл дверцу. Внутри — папки, коробки, мешочки. Пахнуло бумагой и временем.

— Вот, — он выложил папку. — Завещание барона Таубе-старшего. Бумага фабрики Гончарова, сургуч, печать орёл. Всё подлинное.

Вересов открыл папку. Текст читался легко, хотя чернила выцвели.

— «Дом на Английской набережной, с колоннами, двадцать окон, зеркало с ангелами, — прочитал он вслух, — отписываю дочери моей, рождённой от гувернантки Дюпон, девице Глафире».

— Глафире, — повторила Лиза. — Экономке.

— Экономке, — кивнул Ключев. — Которая тридцать лет тут живёт и пыль вытирает.

— А сын? — спросил Пузырёв.

— А сын — ничего, — сказал Ключев. — Сын — только долги. Как внук.

— А внук — двадцать тысяч, — сказал Вересов. — И модный сюртук.

— А сюртук — Теодора, — добавил Пузырёв, который тоже стал разбираться в сюртуках. Ключев посмотрел на них поверх пенсне.

— Господа, а вы уверены, что дагерротип — подделка?

— Уверены, — сказал Вересов. — Левицкий сказал. Он помнит, как снимали в сороковых. В одну сторону полировали, а тут — кругами.

— А Левицкий — кто?

— А Левицкий — старый дагерротипист, — сказал Пузырёв. — Семьдесят лет, а помнит всё. Даже то, чего не было.

— А где он живёт?

— А на Моховой, — сказал Вересов. — Пойдёмте к нему. Он нам покажет аппарат Дагерра. И скажет, кто в зеркале — француз или внук.

— А если внук? — спросил Клюев.

— А если внук, — Вересов улыбнулся, — то у нас будет не привидение, а мошенник. А мошенники, они, в отличие от привидений, очень боятся сейфов. Особенно в пятьсот килограммов.

Клюев закрыл сейф, и сейф гукнул, как будто проглотил очередную тайну.

— Ну что, — сказал Пузырёв, вставая, — теперь у нас есть завешание, дагерротип, экономка-хозяйка, внук-должник и антиквар с бородой. Чего не хватает?

— Старого дагерротиписта, — сказал Вересов. — И пирогов с капустой. Но пироги — у Глафиры Петровны. А дагерротипист — на Моховой. Пойдёмте сначала к дагерротиписту. А пироги — потом.

И они вышли из конторы Клюева на Невский, где уже зажигали фонари, а на улице пахло дождём, сургучом и чужими завещаниями, которые тридцать лет ждали, когда их найдут.

А за ними, в сейфе в пятьсот килограммов, осталось лежать завешание номер сто сорок два, от двенадцатого марта сорок второго года, где было написано, что дом с колоннами и зеркалом с ангелами принадлежит не барону, не внуку, а экономке, которая тридцать лет вытирала в нём пыль и пекла пироги с капустой.

И это, как ни странно, было справедливо. Хотя и неожиданно. Как и всё в Петербурге, где дома с колоннами иногда оказываются не тех, кто в них живёт, а тех, кто в них пыль вытирает.

Вечером того же дня Вересов сидел в тёмной комнате и проявлял то, что утром снял. Снимал он много: дом с колоннами, зеркало с ангелами, швейцара, который помнил французенку Дюпон, барона, который не помнил ничего, кроме газеты, и внука, который помнил только долги.

Макар стоял рядом и смотрел, как в ванночке появляется изображение.

— Барин, а что это? — спросил он, когда из мути проступили колонны.

— А это, Макар, — Вересов не поднимая головы, — это дом, который тридцать лет ждал хозяйку. И дождался. Только хозяйка — экономка. А экономка — с пирогами.

— А пироги — с чем?

— А пироги — с капустой, — сказал Вересов. — Я же говорил.

— А я люблю с капустой, — сказал Макар.

— А все любят с капустой, — кивнул Вересов. — Особенно когда дом — твой, а ты — экономка. И когда тридцать лет вытирала пыль, а теперь оказалось — свою собственную.

В дверь постучали. Постучали тихо, как стучат люди, которые не хотят мешать, но очень хотят войти.

— Войдите, — сказал Вересов, не выходя из тёмной комнаты.

Вошла Лиза, с корзинкой, из которой пахло пирогами. Не с капустой, а с яблоками, но тоже ничего.

— Я от Глафиры Петровны, — сказала она. — Она просила передать. Сказала, что вы сегодня хорошо говорили. Про завешание. И про французенку.

— А что я говорил? — спросил Вересов, выходя из тёмной комнаты и вытирая руки.

— А вы говорили, что дом — её, — сказала Лиза. — И что она — хозяйка. И что Эмиль — эконом. И что долги — его. А пироги — её.

— А пироги — чьи? — спросил Макар.

— А пироги — наши, — сказала Лиза и поставила корзинку на стол. — Глафира Петровна сказала, что вы её не обидели. Что вы первый, кто сказал ей правду за тридцать лет.

— А какую правду? — спросил Вересов.

— А такую, что она — хозяйка, — сказала Лиза. — А не экономка. И что дом — её. И что она может не вытирать пыль, а просто жить.

— А она будет жить? — спросил Макар.

— А она будет, — сказала Лиза. — Она сказала, что будет. И что Эмилия не выгонит. Пусть дрова колет. А то он только в модных сюртуках ходить умеет.

— А дрова — он умеет? — спросил Макар.

— А дрова — не умеет, — сказала Лиза. — Но научится. Глафира Петровна научит. Она строгая, но добрая. Как и положено хозяйке.

Вересов сел за стол, взял пирог с яблоками, откусил.

— Вкусно, — сказал он. — Почти как с капустой. Только с яблоками.

— А с капустой — вкуснее? — спросил Макар.

— А с капустой — вкуснее, — кивнул Вересов. — Потому что с капустой — это когда нервничаешь. А с яблоками — когда радуешься. А Глафира Петровна сегодня, я думаю, и нервничает, и радуется. Одновременно. Потому что дом — её, а внук — должник, а прошлое — нашлось.

— А прошлое — какое? — спросила Лиза.

— А прошлое, — Вересов откинул прядь назад, — а прошлое — это француженка Дюпон, которая говорила «бонжур, мосье швейцар» и смеялась. И барон, который её любил. И завешание номер сто сорок два, которое тридцать лет лежало в сейфе в пятьсот килограммов и ждало, когда его найдут. И дагерротип с французом в зеркале, который тоже ждал.

— А дождался? — спросил Макар.

— А дождался, — кивнул Вересов. — Сегодня. Когда мы пришли. И когда швейцар вспомнил француженку. И когда барон вспомнил, что у него есть сестра. Сводная. С пирогами с капустой.

— А сестра — она какая? — спросила Лиза.

— А сестра, — Вересов посмотрел на неё, — а сестра — она как дагерротип. Снаружи — просто доска, а внутри — вся история. Надо только правильно проявить. И не перепутать, где лицо, а где — тень от лица.

— А как не перепутать? — спросил Макар.

— А так, — Вересов встал, — чтобы смотреть не на лицо, а на то, что вокруг лица. На колонны, на зеркало, на пироги с капустой. Потому что лицо — оно может быть поддельным. А пироги — никогда. Пироги — они всегда настоящие. Особенно когда их печёт экономка, которая оказалась хозяйкой.

И они сели пить чай с пирогами с яблоками, которые были почти как с капустой, только с яблоками, и смотрели на отпечатки, которые сохли на верёвке в тёмной комнате, и на которых был Петербург, мокрый, серый, с извозчиками, которые брали двойную цену, и с домами с колоннами, в которых жили экономки, которые оказывались хозяйками, и внуки, которые оказывались должниками, и фотографии, которые всё это проявляли.

— А вы, барин, — Лиза вдруг спросила, когда они уже ехали на извозчике, — а вы верите в привидения?

— А я, — Вересов посмотрел на неё, — а я верю в то, что сам проявил. А проявил я пока только одно: что в доме на Английской слишком много зеркал и слишком мало денег. А когда мало денег, в зеркалах всегда появляется лишнее лицо. И это лицо — всегда в модном сюртуке. Потому что мода — она как долги: её все видят, а платить — никто не хочет.

— А долги — кто платит? — спросила Лиза.

— А долги, — Вересов откинул прядь назад, — а долги платит тот, кто дрова колет. По рублю. Девятнадцать тысяч дней. Пятьдесят лет. И тогда — свободен. И тогда — можно опять надеть модный сюртук. С блестящими пуговицами. Но уже без долгов. И без лишнего лица в зеркале.

— А без лишнего лица — это как? — спросил Макар, который тоже ехал с ними, хотя его не звали, но он всегда ехал, когда пахло пирогами.

— А без лишнего лица, — Вересов посмотрел на него, — а без лишнего лица — это когда в зеркале — только ты. И всё. И никаких французов, и никаких внуков в модных сюртуках. Только ты. И колонны. Четыре штуки. И двадцать окон. И зеркало с ангелами. Сто килограммов.

— А это — хорошо? — спросил Макар.

— А это, — Вересов улыбнулся, — а это — хорошо. Потому что тогда точно знаешь, кто ты. И где ты. И чей дом. И чьи пироги с капустой. И сколько долгов. Девятнадцать тысяч. По рублю за дрова.

Пролётка подпрыгнула на булыжнике, и Лиза ойкнула, и Макар засмеялся, и Вересов откинул прядь назад, хотя она никуда не падала, и подумал, что в этом, собственно, и состоит его работа: находить лишние лица и возвращать их туда, где им положено быть. Даже если для этого надо проехать через весь Петербург, от Английской до Невского, от Невского до Моховой, от Моховой до Литейного, от Литейного до Обводного, от Обводного — обратно на Английскую. Круг, как полировка на поддельном дагерротипе. Кругами. Как водоворот. И как долги, которые тоже кругами. И как пироги с капустой, которые тоже кругами, когда их режешь.

— А вы, барин, — Макар вдруг спросил, когда они уже ехали обратно, — а вы думаете, швейцар — хороший человек?

— А швейцар, — Вересов посмотрел на дом с колоннами, который остался позади, — а швейцар — хороший человек. Потому что он помнит французенку Дюпон. Которая говорила «бонжур, мосье швейцар» и смеялась. И которая родила дочь, которая теперь — хозяйка дома с колоннами.

— А дочь — она какая? — спросил Макар.

— А дочь — она как дагерротип, — сказал Вересов. — Снаружи — просто доска, а внутри — вся история. Тридцать лет пыли, тридцать лет молчания, тридцать лет пирогов с капустой, когда нервничаешь. А теперь — тридцать лет радости. Потому что дом — её.

— А радость — это как? — спросил Макар.

— А радость, — Вересов откинул прядь назад, — а радость — это когда тридцать лет вытирала пыль в чужом доме, а потом оказалось — в своём. И когда пироги с капустой печёшь не когда нервничаешь, а когда хочешь. А хочешь — всегда. И когда внук — эконом, а не должник. И когда антиквар — честный торговец, а не фальсификатор. И когда фотограф — проявляет, а не обманывает.

— А вы — обманываете? — спросил Макар.

— А я, — Вересов улыбнулся, — а я обманываю только тех, кто сам хочет обмануться. А тех, кто не хочет, — я проявляю. До конца. Даже если они этого не хотят. И даже если для этого надо тридцать лет и два дагерротипа. И даже если для этого надо — девятнадцать тысяч долгов и дрова. По рублю.

— А дрова — это обман? — спросил Макар.

— А дрова, — Вересов посмотрел на топор, который лежал рядом, — а дрова — это не обман. Дрова — они настоящие. Их можно потрогать. Ими можно печку топить. А печка, она, знаешь ли, как экономка: если её правильно топить — она тебя греет. А если неправильно — дымит. Как сегодня утром.

— А сегодня утром — она дымила, — кивнул Макар.

— А сегодня утром, — Вересов посмотрел на печку, которая теперь гудела довольно, — а сегодня утром она дымила, потому что ты её неправильно топил. А теперь — гудит, потому что правильно. Вот тебе и разница между экономкой и хозяйкой. Экономка — она печку топит, а хозяйка — она в доме живёт. И печка её слушается. Потому что дом — её.

И пролётка подпрыгнула на бульжнике, и Лиза ойкнула, и Макар засмеялся, и Вересов откинул прядь назад, хотя она никуда не падала, и подумал, что в этом, собственно, и состоит его работа: находить лишние лица и возвращать их туда, где им положено быть. Даже если для этого надо проехать через весь Петербург, от Английской до Невского, от Невского до Моховой, от Моховой до Литейного, от Литейного до Обводного, от Обводного — обратно на Английскую. Круг, как полировка на поддельном дагерротипе. Кругами. Как водоворот.

И ещё — про время. Время в Петербурге течёт странно: то быстро, как извозчик, который опаздывает, то медленно, как нотариус, который ищет завешание номер сто сорок два. И вот, казалось бы, сороковые годы — давно прошли, а дагерротип — остался. И француз в зеркале — остался. И экономка — осталась. И дом с колоннами — остался. И всё — как будто вчера снимали. Пятнадцать минут, не дыша.

— А вы долго не дышали? — спросил Макар.

— А я, — Вересов улыбнулся, — а я и сейчас не дышу, когда проявляю. Потому что проявлять — это как не дышать. Надо замереть и смотреть, как из ничего появляется лицо. Или тень от лица. Или то, чего не было, но теперь есть. Как француз в зеркале. Или как хозяйка в доме с колоннами.

— А хозяйка — она дышит? — спросил Макар.

— А хозяйка, — Вересов посмотрел на него, — а хозяйка дышит. Глубоко. Потому что дом — её. И пироги с капустой — её. И Эмиль — её внук, хотя и должник. И барон — её брат, хотя и в деревне. И зеркало с ангелами — её. Сто килограммов. И завешание — её. Номер сто сорок два. Двенадцатое марта сорок второго. Бумага фабрики Гончарова, сургуч, печать орёл. Всё подлинное. И дыхание — тоже подлинное. Глубокое. Как после тридцати лет молчания.

И они ехали по Загородному, мимо лавок, мимо фонарей, мимо домов с колоннами и без, мимо извозчиков, которые брали двойную цену, мимо Петербурга, который жил своей жизнью, не зная, что где-то на Английской набережной экономка оказалась хозяйкой, а внук — должником, а антиквар — фальсификатором, а фотограф — тем, кто всё это проявил. До конца. Даже если для этого надо тридцать лет и два дагерротипа. И пироги с капустой. И топор, который блестит, как сюртук Теодора, но пахнет дровами.

Глава третья. Дом на Английской

Контора нотариуса Клюева на Невском пахла сургучом, старой бумагой и чувством собственной важности. Сам Клюев был лыс, в пенсне, и смотрел на посетителей так, будто заранее знал, что они пришли отнимать у него время.

— Завещание Таубе? — переспросил он, когда Вересов изложил дело. — Двенадцатое марта сорок второго? Номер сто сорок два?

— Вы помните номер? — удивилась Лиза.

— Я помню все номера, барышня, — сказал Клюев гордо. — У меня в сейфе пятьсот килограммов чужих тайн. Если я начну забывать номера, тайны перепутаются. А это непорядок.

Он подошёл к сейфу, который действительно стоял как шкаф, повозился с ключами и открыл тяжёлую дверцу. Внутри лежали папки, коробки, мешочки с сургучом. Пахло ещё сильнее бумагой и временем.

— Вот, — Клюев выложил на стол папку. — Завещание барона Таубе-старшего. Бумага фабрики Гончарова, сургуч из шеллака, печать — двуглавый орёл. Всё подлинное. Я бы подделку за версту учуял.

Вересов открыл папку. Текст был тот же, что и в копии, только чернила чуть ярче, а бумага — толще.

— А дагерротип к нему прилагался? — спросил он.

— Прилагался, — кивнул Клюев. — Принёс какой-то молодой человек. Сказал, нашёл в бумагах покойного. Я вложил в дело.

— В сюртуке с блестящими пуговицами?

Клюев посмотрел на Вересова поверх пенсне.

— Откуда вы знаете?

— Я много чего знаю про блестящие пуговицы, — сказал Вересов. — Это моя слабость. Как у вас — номера.

В этот момент в контору вошёл Пузырёв. Пристав Аркадий Дормидонтович Пузырёв был тучен, важен и любил появляться тогда, когда его не ждали.

— Вересов! — сказал он с порога. — Опять вы! Я так и знал, что без вас тут не обошлось. Мне Давидсон уже всё рассказал. Про дагерротип, про привидение, про пять тысяч. Я ему сказал: «Давидсон, ты у меня доиграешься». А он мне: «Я честный торговец». Честный торговец, как же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.